



Владислав Мисевич

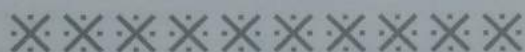
ПЕСНЯРЫ

Я роман с продолженьем пишу...

Владислав Мисевич

«ПЕСНЯРЫ»

Я роман с продолженьем пишу...



Авторы идеи *Юрий Кунец*
и *Александр Катиков*
Консультант *Сергей Трефилов*

КАБИНЕТНЫЙ УЧЕНЫЙ
МОСКВА — ЕКАТЕРИНБУРГ
2018

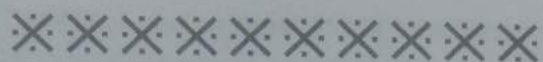
ПРЕДИСЛОВИЕ

Так было... А могло и не быть. Но коль вы читаете эти страницы, значит, всё случилось. И случилось именно со мной. С каждым годом всё чаще задаю себе вопрос, почему повезло именно мне. Какой вообще процент такого везения приходится на сто человек или на сто тысяч? Задаю вопрос, сопоставляю факты, но более-менее точного ответа дать себе не могу.

Возможно, поможет эта книга. Её идея возникла у моих друзей, о которых я ещё не раз вспомню. Годами после каждой рассказанной истории о «Песнярах» или «Белорусских песнях» они твердили: «Влад, да тебе надо писать книгу!» Я соглашался, мол, нужно как-нибудь взяться, — и всё, тема закрывалась. И вот однажды уж не помню, какие аргументы они привели, но я торжественно объявил: «Напишу!» И конечно, как нередко бывает с большими делами и значимыми событиями, своё обещание я дал в бане.

Мне сразу было понятно, о чём я хочу рассказать. Это взгляд музыканта популярнейшего музыкального коллектива, который всю сценическую жизнь работает в его «первой линии». Какими виделись успехи и неудачи «Песняров»? Что происходило в закулисы и как это влияло на творчество? Кем был я четверть века в «Песнярах» и кем стал за двадцать лет в «Белорусских песнях»? Да и вообще, кто я такой — Владислав Мисевич: артист, Змей, предатель или просто-напросто везунчик? А может, всего понемногу?

Всё это — в книге, но через факты, а не эмоции. Не мое это. Потому, например, не разбрасывал на каждой странице прозвищ вроде Муля — очень личных, как мне кажется теперь. И долгого подробного анализа музыки в ней нет — не мой уровень. Хотя, каюсь, случилось — бес попутал: вдруг подверг разбору яркий период 1990-х у ансамбля «Песняры» и подавляющее большинство лучших вещей «Белорусских песняров». Всё это чудесная музыка Олега Аверина. Да простит он мне — не дают всё-таки покоя лавры музыковеда! Мне кажется, самоиронией я запасся: это, конечно, страшное, но очень полезное оружие — слабонервных прошу выйти! А ещё сразу прошу прощения у тех, кого не упомянул на этих страницах, но кто мне был и остаётся дорог, кому я благодарен и кого высоко ценю. Впрочем, а почему бы не замахнуться на второй том? Но это шутка. Или нет?..



I. ДО «ПЕСНЯРОВ»

«А ГДЕ ИНСТРУМЕНТ?»

Дико, страстно хотелось стать музыкантом! Как и многим детям, наверное. Сегодня это звучит смешно и пафосно, а тогда я буквально ныл: «Хочу музыку!» И отец Людвиг Леонардович поддержал меня, сделал первый инструмент на деревяшке — не зря говорили о нём: на все руки мастер. Что-то среднее между гитарой и балалайкой получилось, даже с ладами. Правда, побренчал я на этой штуковине недолго: примерно тогда мой дружок Вовка Байцур прознал, что в Доме культуры паровозоремонтного завода открылся филиал музыкальной школы. Его тоже к музыке тянуло, может, даже пуще моего, да и посмелее Вовка оказался. Так что чуть не силком потащил он меня на прослушивание — за компанию. А мне ведь и самому хотелось учиться, но я понимал: кроме огромного желания, шансов на исполнение мечты — никаких... А на прослушивании педагог определяет музыкальный слух у меня, а не у Вовки. Я, окрылённый, записываюсь в класс фортепиано — как магнитом притягивали клавиши. И когда до мечты — один шаг, на первом же занятии меня ставят в тупик вопросом: «А где инструмент?» Оказалось, по ошибке фамилию «Мисевич» внесли в число скрипачей. Но всё разрешилось, и два года я занимался сначала в ДК по соседству, а потом в основном здании школы, уже подальше. Кстати, несмотря на вердикт после прослушивания, все четыре года мы с Байцуром вместе и отучились. По-моему, Вовка даже её окончил, в отличие от меня.

ТАНЦЕВАЛ ДАЖЕ!

Когда недавно встретился с Володей в Томске, где оказались с концертом «Белорусские песняры», повспоминали мы то время. Однажды его отец Степан Васильевич Байцур (мой учитель математики, один из самых сильных и строгих педагогов, которых мне доводилось встречать) приходит с родительского собрания в музыкалке и говорит сыну: всё хорошо, стараешься, а вот лучше всех, сказали, по партам скачешь. А что говорили моим

родителям — не вспомню. Но помню точно: учился с рвением, с желанием и по партам не гарцевал. Мало того: и в обычной школе успевал в оркестрике поучаствовать у учителя пения Ивана Романовича Ломакина, в дуэте пел, танцевал даже. (Кстати, с педагогом этим встречался снова уже за кулисами одного из первых концертов «Песняров» в Оренбурге.)

ТРЕТЬ ЗАРПЛАТЫ НА «ШРЁДЕР»

И вот наступил момент, которого я боялся. В клубе очередь к двум разбитым роялям, чтобы пару раз по клавишам ударить, а без домашней практики учёбу не потянешь. Но где найти двенадцать — пятнадцать рублей в месяц, чтобы взять пианино на прокат? А ведь была ещё и плата за обучение в музыкальной школе... Всё это невероятный расход для семьи из семи человек (мать и отец, два сына, дочь, две бабки), которая жила на реформированных Хрущёвым девяноста рублей отцовской зарплаты инженера. (А она, считай, и когда папа выходил на пенсию после пятидесяти с лишним лет на одном предприятии, не особо изменилась: сто десять рублей на должности главного энергетика несколько лет спустя были праздником.) И чем подработать? Ну, электрические плитки папа собирал, какие-то поломки по электрике чинил, а мама шила на дому — после потери пальца на маслозаводе полноценной работы ей не было.

И всё-таки отец отправился на поиски инструмента — страшного дефицита для Оренбурга тех лет. В прокатном ателье все пианино уже разобрали «по благу», а нам могли предложить только кабинетный рояль «Шрёдер». А он мало того что обходился в треть отцовской зарплаты в месяц (почти тридцать рублей!), так ещё и занимал половину одной из двух комнат в доме! Как сейчас помню момент, когда это чудо привезли: лакированный, блестящий, шикарный рояль просто озарил светом нашу нищенскую обстановочку. Вся детвора окраинного посёлка сбегалась на диковинный инструмент поглазеть, а дотронуться до клавиш, побряцать что-нибудь — вообще величайшим счастьем казалось. И до сих пор не знаю, почему родители пошли на эту трату, не посчитали музыку временным увлечением... Может, повлияло то, что отец сам неплохо владел гитарой и мандолиной, балалайкой и скрипкой, а в Великих Луках на танцах в оркестре играл. Даже после семидесяти он оставался таким же музыкальным, как и прежде: любую мелодию подбирал с лёту! При этом никогда не учился в этом направлении. Разве что, по семейной легенде, на скрипке своего отца, деда Леонарда, который умер от чахотки в 1914-м. В семье, кстати, всегда вспоминали, что деда Леонарда после работы дома чуть ли не каждый день ждала компа-



Счастливые молодые годы моих родителей в Великих Луках.
Бронислава Ивановна Вержбицкая (1914–1997) и Людвиг Леонардович Мисевич
(1910–1997). Конец 1930-х — начало 1940-х

ния, которую собирала бабушка Мария Эдуардовна: песни под гитару, театральные сценки...

БЫТОВУХА ПОБЕДИЛА, НО...

Занимался я на этом «Шрёдере» два года, даже немного маленькую сестру Галю подучивал — в школу она пошла с минимальными музыкальными знаниями. Но понимал, пусть и пацан совсем: родители не справляются — и без того на жизнь хватало едва-едва. Да и условия для занятий какие? Теснота! Правда, мои первые шесть лет — это вообще землянка, которую начальник милиции нашего района майор Бондарь разрешил в начале войны выкопать в углу своего двора. Просыпаешься, и на тебя одновременно наваливаются сырость, духота и прохлада, если не холод. Даже совсем маленьким всё норовил сбежать (как теперь понимаю — лишь бы подальше от этой неустроенности) в лес или в другую землянку, но с костром. Выручала нашу семью и корова майора: он разрешил нам брать молоко для детей. Пускал он на лето нас, детей, в свой большой дом. Ну а когда я пошёл в школу, отцу на паровозоремонтном заводе дали половину нового деревянного «финского» дома на две семьи. Не дворец, но хотя бы в сухих стенах. Ну а рояль... Спустя два года от проката отказались: не вытянули родители — бытовуха победила... Когда инструмент увезли, я ночь проплакал в подушку. Ещё подумал: а может, заняться рисованием? Склонности у меня имелись,

что-то получалось (портрет отца написал по памяти), а бумага, краски и карандаши стоили недорого. (Правда, все мои детские рисунки остались в Оренбурге: даже не знаю, сохранились ли.) А мог же и петь, и география в школе нравилась, и в радиокружок ходил, и на Малую детскую железную дорогу... Но все увлечения и занятия, по сути, были баловством, не могли сравниться с тягой к музыке. И отец, наверное, это почувствовал. Для начала сделал мне «немую» клавиатуру: все клавиши нажимались и соответствовали настоящему роялю! А потом он за тридцать рублей купил эбонитовый кларнет у соседа Григория Трусова. Так что в танцевальный, как его называли, оркестр завода я пришёл с собственным инструментом: не рояль, конечно, зато — свой.

Чкалов и бабушка Мария

Дома музыка звучала постоянно. Бабушка Мария напевала арии, выученные наизусть с молодых лет по московским концертам и грамзаписям Фёдора Шаляпина, Леонида Собинова, Сергея Лемешева, Ивана Козловского... А иллюстрациями к её восторженным воспоминаниям стали радиопередачи, хотя громоздкая радиоточка-тарелка мало соответствовала божественным голосам. Но арии из любимых оперных постановок бабушка усаживала меня слушать в обязательном порядке. Кроме восхищавших Марию Эдуардовну теноров, не пропускали мы и прекрасный бас Бориса Гмыри — любимца Сталина, который ему за талант простил даже пение в оккупации перед фашистами. Понимал я в этом не много, да и академическим вокалом не увлёкся, но и по сей день мой кумир — Лемешев! Так что просветительская процедура не оказалась бесполезной. Однако из всей «радиошколы» я ждал фортепианных концертов с оркестром.

Ещё Мария Эдуардовна обожала московские театры. (И сама ведь играла на сцене!) Её страстью был Большой, где эта светская дама не пропускала премьеры, и для неё всегда находили приставное кресло. Ну а я ждал новых красочных рассказов о спектаклях. И впечатлений хватало. Дело в том, что едва не каждое лето бабушка отправлялась в Подмоскovie — в семью легендарного лётчика



Именно с бабушки Марии Эдуардовны Мисевич (1890–1957) и началось моё увлечение музыкой — как оказалось, на всю жизнь

Валерия Чкалова. Причём не домработницей или горничной, а скорее подругой, нянькой на их летней даче. А начала Мария Эдуардовна бывать у Чкаловых ещё в 1930-х. Случалось, что на полгода уезжала туда. Но дома это знакомство не афишировалось: мол, бабушка в Москве у подруги — и всё. Подробности такие — считай, не так уж и давно — разузнала моя сестра Галя, увлечённая семейной генеалогией. (Кстати, Оренбург в годы моего детства и назывался Чкаловым: будущий герой у нас месяца три в авиационном училище курсантом был.) А я о бабушке запомнил такую деталь: она великолепно шила. Кажется, только нитки разложит, как уже вещь готова! Кстати, хорошо шила и моя мама.

НА ГОРНЕ ДЛЯ МАЛЕНКОВА

Какие ещё были развлечения для пацана в Оренбурге моего детства? Как на лыжи встал, всю зиму на них и катался, а летом — на реке или во дворе. Ещё совместно с соседями (уже в «финском» доме) мы держали кур и даже свинью. Ох как я ненавидел эту зверюгу! Ведь помощь по хозяйству делилась на двоих с сестрой, а свинью пасти доверяли только мне: наверное, считали родители, что я постарше, совладаю с животным в случае чего. Но разве это развлекуха для пацана?

Что ещё? Музыкальный и драматический театры (а в последнем в своё время служили Иннокентий Смоктуновский и Леонид Броневой) меня не особо интересовали. Зато музыкальное училище казалось настоящим олимпом. Собственно, оно им и было. Спустя годы я узнал, что Леопольд Ростропович вместе с сыном-студентом Мстиславом попали в Оренбург в эвакуацию. Через какое-то время они уже преподавали оба, чем и прославили наше училище. Намного позже Мстислав создал там небольшой музей. И до конца своих дней часто посещал училище, музицировал тут со студенческим оркестром. Дни пребывания Ростроповича становились событием для всего Оренбурга!

Лет в восемь я увидел Маленкова, уроженца Оренбурга. После смерти Сталина он стал главой советского правительства, то есть первым человеком в государстве. А на малую родину он приехал



Мне здесь не больше четырёх лет. Наверное, уже музыкант, но пока только в душе



Самая лучшая в мире новая школьная форма. Дорогая, зараза... Мне лет десять, тут я с сестрой Галей во дворе нашего орenburgского дома. Не думал, что пройдет совсем немного времени, и форма, правда военная, станет мне как родная на восемь лет

бьята вроде меня изучили сбитый немецкий самолёт, который стоял у проходной! (Как он туда попал, никто не знал.) По бесплатным билетам как почётный железнодорожник отец дважды свозил меня на свою родину — в Москву. И до школы, и во втором классе советская столица открылась мне его глазами: Вторая Тверская-Ямская улица, где он и родился, Банный переулок возле Рижского вокзала, где жил во время НЭПа... А ещё — двухэтажный троллейбус, походы в Третьяковку, на ВДНХ и на Красную площадь. Мне было всего шесть лет. Казалось бы, что в детской голове могло отложиться? Но эти названия и рассказы отца помню до сих пор. И уже по-взрослому понимаю: а ведь в тех местах с чем-то важным я соприкоснулся.

ГОРОД КОНТРАСТОВ

Да и вообще, Москва не сходила с уст домашних: туда же вели дворянские корни отца. Правда, о своём детстве он говорил скупо — считай, ничего (хорошо помнил, как сажали в 1930-х и его и матери родных, знакомых). Мы знали опять же, что дед Леонард

награждать область орденом Ленина. Мы, школьники, сорвали аплодисменты на торжестве, где и я засветился: играл на пионерском горне. В остальном же жизнь крутилась вокруг района и паровозоремонтного завода, серьёзного предприятия в масштабах города. Например, отец водил нас туда раз в неделю в душ, особенно в холодное время, когда наши удобства на улице становились уж совсем некомфортными. И на заводе я знал все цеха, каждый паровоз на запасных путях (половина — с немецкими крестами), на раз-два с друзьями опустошал в них песочницы между тормозными колодками и колесом. (Как иначе в семье технарей? Спустя пару лет я уже мог собрать детекторный приёмник!) А как подробно ре-



Слева: Мой дедушка Леонард Бернардович Мисевич (ум. 1914), по семейному преданию, был отменным скрипачом
Справа: Далёкий 1914 год: в московском фотоателье Круповича у Мясницких ворот снялись бабушка Мария и её четырёхлетний сынишка — мой отец Людвиг. Согласитесь, мы с отцом похожи

умер в 1914-м от чахотки, когда папе было четыре. А в десять лет его с младшей на два года сестрой отдали на шесть месяцев в детдом: тогда их мать, мою бабушку Марию, положили в больницу с оспой. Вернуться в свою квартиру по какой-то причине после воссоединения не удалось, и семья поселилась в сторевшей квартире приятелей. В той же Москве отец окончил девятилетку, а затем в училище осваивал науку землемера. Моя сестра Галя иногда вспоминает, как в детстве сетовала: «В Москве жили бы, папка! Вот это счастье!» Тогда папка наш ей в ответ рассказывал, как с пацанами искал еду на помойках возле Красной площади. Была у них (снова опираюсь на память сестры) и такая «забава»: ребята подсаживали одного из компании на грузовик, и смельчак вытягивал из-под брезента пару буханок хлеба. Когда настал черёд отца запрыгивать на проходящую машину, под брезентом оказался не хлеб, а штабеля покойников — всё умершие от голода. От страха он свалился на землю, но пока объяснил, что было в кузове, успел отхватить тумачков: мол, зажал хлеб?

КАК Я СТАЛ ВОСПИТОНОМ

Покупка кларнета, почти два года обучения игре на нём в оркестре ДК паровозоремонтного завода параллельно с музыкальной школой... Но вечный недостаток в семье требовал ответа на вопрос, как выжить во взрослой жизни, не оставляя любимое занятие. И поспособствовал мне... продавец того самого кларнета Григорий Трусов. Был это не просто сосед, отец моего одноклассника Васьки,



Слева: Моя сестра Галя (первая справа) с друзьями во дворе Григория Трусова. Как раз он, продав моему отцу кларнет, на долгие годы определил мою музыкальную специальность
Справа: До начала воспитания оставалось всего ничего

а ещё и музыкант. Спустя какое-то время он предложил пристроить меня в местное Суворовское училище воспитаном в оркестр, где у Трусова был приятель-сверхсрочник. Ну а не выйдет, говорил он, по военной части можно попробовать — короче, куда возьмут.

Что говорить, оркестр при училище — это самая настоящая мечта! Воспитанники (ещё с царских времён такой статус был заведён) днём занимались на уровне музыкальной школы, а затем учились в вечерней. В штате оркестра были места под такую категорию, их обеспечивали формой, койкой в казарме, летом — службой в лагере на берегу Урала наравне с суворовцами (такая была особенность училища). А кормёжка — четыре раза в день! Разве домашняя еда для того, кто едва знал вкус курицы, могла сравниться с харчами в училище! Так что выпала мне настоящая путёвка в жизнь! Оставалось только пройти отбор. И если в суворовцы не принимали со слабым зрением, то в оркестр брали даже в очках (хоть я их на всякий случай и не надевал). На это я и рассчитывал, готовил себя именно к музыкальным занятиям.

И всё сошлось: меня зачислили воспитаном в оркестр училища. Думаю, не только потому, что сосед замолвил слово: всё-таки четыре года в музыкалке, умение читать ноты, игра в школьном оркестре не пропали даром. Только практики на кларнете не хватало, да и постоянного педагога не было. Так что пришлось самому заниматься и нагонять. Зато уже в оркестре первые кларнеты согласно полутра-



Володя Байцур (слева) закончил-таки музыкальную школу
(в отличие от меня — справа). 1964 год

диции-полуобязанности военных коллективов работали с новичками вроде меня, а с «учителей» спрашивал дирижёр. (Правда, у нас в Суворовском долго не было постоянного дирижёра: его обязанности исполнял старшина Корольков. Как оказалось, неспроста...) Хотя мой случай, думаю, не был самым запущенным: коль я знал нотную грамоту, оставалось подтянуть специфику инструмента.

КАКОЙ ТУТ АВТОРИТЕТ...

Когда подавал документы в училище, обнаружился неприятный сюрприз. Мои детские дни рождения в семье отмечали вместе с Днём Победы. Я был уверен, что 9 мая — ещё и мой личный праздник. А родиться в День Победы в победном же 1945-м для послевоенного пацанёнка, само собой, повод для повышенного авторитета среди ровесников. Конечно, все друзья-товарищи знали о совпадении. Но вдруг, заполняя анкету перед поступлением, в свидетельстве о рождении я вижу вместо девятки восьмёрку: выходит, появился я на свет днём раньше, 8 мая? У меня глаза на лоб! И как назло, пошёл я тогда в училище один, уточнить не у кого. Вот что делать? Конечно, я заполнил бумаги с этой предательской восьмёркой, чтобы вообще не завернули восвояси, отдал в приёмную комиссию, а сам бегом домой — мало ли, ошибка какого-нибудь невнимательного писаря, и её раньше никто не замечал. Но родители ответили честно: родился ты восьмого, а два дня подряд гулять — уж слишком. Всё просто, оказывается. Но как мне сказать своим приятелям,

что я им столько времени врал, что-то такое себе приписал? Какой тут авторитет...

СВОБОДА И ВЕЗУХА

Правда, ничего такого и не пришлось делать, потому что моя жизнь перевернулась. Увлечение, мечта перерастали в профессию, и я кайфовал от этих перемен. Здорово, что родители понимали, чего я хочу, хоть, кажется, не особо верили поначалу в успех. Ведь многие не выдерживали военную дисциплину в училище. Но жаль родные не слышали ни от меня, ни на меня. А со временем даже стали говорить: «Везуха!» Да и как не везуха-то? От дома я отрывался. С одной стороны, я сам этого хотел. Конечно, и отца, и мать я боготворю. Бывает, смотрю фотографии старые и понимаю, сколько же они пережили: и репрессии, и эвакуацию, и войны. Но часто ребёнку не нравится что-то в семье родителей, не обязательно он возьмёт отношения в ней образцом для своей жизни. Может, немного повзрослев, я потому и сбежал в казарму, стремился к самостоятельности. Казалось бы, в армии зависимость полнейшая, но нет — для меня это была самая настоящая свобода. Есть и другая сторона.

Мой уход оказался не только личным спасением от непростой жизни, но и облегчением для всей семьи. Мама, Бронислава Ивановна, всегда переживала, что особо помочь мне не могли. Но за эти полтора года я даже разъялся немного! Так о чём жалеть?

«ГЕНЕРАЛ» С ПАРОВОЗОРЕМОНТНОГО

А домой заглядывал раз в неделю. И ни разу ночевать не оставался: поболтаюсь, встречу с приятелями — и к вечеру назад в казарму. Первого мая и седьмого ноября, когда играли парады, приходил в форме с белыми перчатками, блестящими аксельбантами (даже есть фотография маленькой тогда сестры в огромном для неё мундире). И когда я приезжал домой в такой форме, весь посёлок паровозоремонтного выбегал посмотреть на «генерала»! Была ещё причина, почему я лишний раз хотел на родной окраине оказаться при параде. Однажды я заглянул в школу, где раньше учился, к безответной любви — Свете Тихомировой. И пока я ждал её с уроков, ребята позвали сыграть в волейбол. После таких испытаний моя сто раз стиранная будничная форма стала совсем неприглядной, а недавно начищенные сапоги приобрели стойкий пыльный цвет. Когда первая любовь увидела меня в таком виде, она только и сказала: «Ну и форма, как на войне...» Но форма со временем всё больше дисциплинировала. Как-то в троллейбусе я даже зашипел на свою сестру и её подружку, которые меня «засекли» и принялись трещать



Вечер дома в гражданской форме: наутро уезжаю в Минск. Декабрь 1962 года

о домашних делах! Ну не к лицу военному человеку пустая болтовня! Но однажды от оркестра Суворовского училища меня отправили выступать в Москву. Правда, не как самого талантливого, к примеру, а как самого... младшего. Просто у колхозного оркестра из-под Оренбурга не было кларнетиста, вот и взяли меня, а ещё трубача Славу Прокопова. Вместо военной формы нас одели в пионеров, и мы играли за крестьян в Колонном зале Дома Союзов, на ВДНХ. Между прочим, не только суворовцы оказались липовыми колхозниками: даже дирижёр из местного музучилища отдувался за любителей. Показуха ещё та! Впрочем, со своими ролями все справились успешно, нам даже вручили общие фотографии — на память о «подлоге», выходит. А вот Москва в этот приезд меня уже не так впечатлила, как в детстве...

НИКТО НЕ ХОТЕЛ ПОМЕРЕТЬ «МАКАРОННИКОМ»

Ситуация изменилась неожиданно. Спустя полтора года моего воспитонства Оренбургское суворовское училище решили расформировать. Суворовцев и воспитанников распределяли по Союзу, ну или распускали по домам. Последний вариант мне никак не подходил. Раз уж попал в жизнь более-менее, нужно было держаться за место и по возможности улучшить условия. А что могли предложить молодые дирижёры, вчерашние воспитоны, из штатных оркестров военных частей? Перейди (а точнее, переедь за тридевять земель) в такой коллектив — и тебя задушит быт, помрёшь «макаронником»-сверхсрочником в лесной военной части, максимум, если повезёт, съездишь раз в жизни



С коллегами по Оренбургскому училищу лётчиков. Я — второй слева

в Чехословакию или ГДР, где в наших группировках войск тоже были военные оркестры. Признаюсь: не о таких хлебах я мечтал, а о музыке. Так что цель была — другое училище. И тут среди «купцов» — дирижёр из Первого Оренбургского военного авиационного училища лётчиков майор Зиновий Пинский. Это шанс, да ещё и переезжать не надо! С флейтистом Лёней Сафоновым мы пробилась-таки к лётчикам. (Три месяца в 1923—1924 годах здесь учился Чкалов, а в середине 1950-х выпустился Юрий Гагарин: его хорошо помнили!) Условия оказались куда сложнее и от солдатских будней отличались лишь учёбой воспитанников в вечерней школе и доппайком — банкой сгущёнки на троих. Я сразу уяснил: витаминки давать не станут и маслица в норму не добавят. Но всё-таки среда мне была близка. И уровень оркестра с профессиональным дирижёром и музыкантом Пинским во главе впечатлял. Да и вообще, значимость и профессионализм музыканта не требуют особых проверок: и в небольшом провинциальном коллективе можно быть классным исполнителем. К примеру, меня в оркестре авиационного училища восхищали некоторые сверхсрочники. Помню, как мечтал достичь уровня виртуозного тромбониста Сурмачёва (позже вместе с дирижёром он переехал в Луганск) или моего старшего коллеги сержанта Чубаря (а о нём ничего не слышал, пока не встретил его сына, на тот момент бывшего главой района недалеко от Туапсе).

ПРИНИМАЛ ПАРАД В ДОНЕЦКЕ

А у однокашников по Суворовскому судьба сложилась по-разному. «Липовый колхозник» Слава Прокопов отучился в Академии имени Гнесиных у блестящего педагога Тимофея Докшицера (тоже воспитона-трубача, только из кавалерии) и служил в оркестре московского Большого театра. Лёня Сафонов окончил ту же Гнесинку, работал в Омском симфоническом оркестре, где мы с ним спустя годы встретились, стал художественным руководителем Оренбургской филармонии, а затем уехал в Израиль. Был ещё один путь в музыку — дослужиться до майора или даже подполковника после факультета (позже — института) военных дирижёров Московской консерватории, как мой будущий начальник Борис Пенчук.

Ну и потом, воспитонам открывались двери в военную службу (суворовцев там привечали в первую очередь). Вот мой приятель Ваня Бешенцев, воспитанник, на год старше меня, который по поручению старшины в своё время гонял нас по учёбе, дослужился до генерала, был командиром полка ПВО вблизи печально известного сегодня донецкого аэродрома. Но после распада Союза следов Вани в Украине я не нашёл даже через знакомых высокопоставленных военных. А мне так запомнилась одна из наших встреч! Ваня, тогда уже полковник, организовал «песнярам» парилку по высшему разряду, потом замначальника полка получил приказ: «Выкапывай всё, что есть!» В итоге в компании с Ваней «выжили» только я да Толя Щёлоков, директор и звукорежиссёр ансамбля. Когда всё выпили и перепробовали, гостеприимный хозяин, спросив, сколько времени осталось до вылета, предложил: «Давайте я вам парад ПВО сделаю! Вы должны это увидеть! Только галстучки нацепите — я скажу, что это комсомольская делегация из Беларуси». И вот перед нами дилемма: надо спешить на самолёт, но как упустить подобную возможность?! И вот мы уже стоим на трибуне в галстуках (благо гостиница рядом), а потом спускаемся вниз — в самое сердце противоракетной обороны советской родины: ракета выходит, вокруг неё суетятся военные, поднимают, опускают какие-то механизмы — клёвое зрелище. Но не меньший кайф получили, когда в присутствии закисших от скуки в зале ожидания «песняров» начальник аэропорта, вытянувшись в струнку, докладывал полковнику Бешенцеву и комсомольцам (кстати, абсолютно натуральным) Щёлокову с Мисевичем о том, что всё работает в штатном режиме, но была, мол, одна чрезвычайная ситуация у пэвэошников. Надо было видеть хитрую ухмылку Володи Мулявина, который был в курсе (даже ногу в парилке у Бешенцева успел подвернуть) и сразу просёк, кто виной той ситуации.

А МЕНЯ РОЗНЕР НЕ ПОСЛАЛ...

Два эпизода из околomuзыкальных воспоминаний оренбургской юности. Однажды в парк у ДК паровозоремонтного завода приехал симфонический оркестр из Самары. Такого коллектива в Оренбурге не было. Не скажу, что весь район сбежался, но летнюю эстраду заполнили до отказа. А мы, ребята, залезли на деревья и слушали концерт. Для меня он стал потрясением: инструментальные вещи, вокальные арии... И конечно же, приезд оркестра под управлением Эдди Рознера: вот где звучала почти западная музыка! Попасты на такие концерты для пацанов вроде меня — запредельно! Помог случай: у одного из кларнетистов Рознера я купил трость для инструмента — страшный дефицит в городе, — ну и попросил провести на концерт. Меня посадили то ли в зал, то ли в оркестровую яму. Но главное, что я прослушал всё выступление и получил огромное впечатление! Что-то похожее я испытывал разве что от концертов оркестров Юрия Саульского и Густава Брома в Минске.

В тему — пересказанная Валерой Сюткиным хохма от Володи Преснякова-старшего (мы с Мулявиным познакомились с ним, когда с «Орбитой-67» прикатили выступать в родной и для Преснякова Свердловск). Володя, без года мой ровесник, мечтал попасть на концерт большого оркестра. И вот в одном из украинских городов пацаном, до армии, он играл в какой-то бригаде как вполне сформированный саксофонист. А тут приезжает Леонид Утёсов со своим оркестром. И Володя околачивается возле столичных музыкантов. «Чего хочешь?» — спрашивают у него. «Хочу вас послушать, а мест нет». Тогда ему говорят, в каком ряду с краю будет свободное кресло. Уже началось выступление, Володя кайфует от оркестра, как вдруг слышит над ухом специфический, но такой знакомый скрипячий голос: «Молодой человек, что вы здесь делаете?» Оборачивается: Утёсов! Володя начинает объяснять, что ребята из оркестра показали ему на это место, а он просто хотел послушать концерт. Утёсов повторил вопрос. «И что мне делать?» — спросил Пресняков. «Идите на ***!» — ответил Утёсов и рукой показал на сцену. «Сам Утёсов, — говорит Володя, — дал путёвку на эстраду!» Даже обидно, что мне такой путёвки в жизнь не дал, скажем, Рознер...

ФОКСТРОТ ДЛЯ БЛАТНЫХ

В новом оркестре мне повезло два лета играть на «взрослой» танцплощадке. Сверхсрочникам и дирижёру за каждый выход на эстраду платили, а воспитонами вроде меня наскоро латали брещи в составе (преимущество военного оркестра: в гражданском недокомплект так просто не закроешь). А я в кайфе просто поиграть: лишь бы казармой не дышать! Да и танцы в городском парке или

у проходной авиационного училища на берегу Урала — ого-го статус для пацана. И всем приятелям вход по билетам! Перед армией в парке паровозоремонтного завода я, кстати, играл уже вместе с соседом-музыкантом Григорием Трусовым.

На оренбургских танцах ещё не было сочетания кларнета и аккордеона, не звучал саксофон. Но я быстро усвоил: даже на кларнете, который уже вполне освоил, можно не просто дудеть марши в военном оркестре. Ну и уверенность пришла: и так могу, и эдак! Ведь что игралось на оренбургских танцах, что заказывали? Самый популярный танец — конечно, вальс. (А когда сегодня «Белорусские песняры» поют «За полчаса до весны» или что-нибудь на три четверти, разве что наши ровесники закружат в вальсе: молодёжь и трёх тактов не одолеет.) Ещё звучали фокстроты, танго в советской интерпретации и духовом исполнении, лёгкая эстрада, классика, но до твистов или рок-н-роллов не доходило. Пусть с танцев спрос и меньший, но за репертуарчиком наверняка следили: как раз тогда за преклонение перед Западом Володю Мулявина в Свердловске и Чесика Немена в Гродно выгоняли из музучилищ. Но элемент импровизации допускался, хотя играли в основном по нотам.

Танцы несли массовую культуру, а значит, на площадках хватало кепочек-восьмиклинчиков — море блатных. Они по краешку стояли, в своей компании, танцевали парочками — никаких баб. А вот сладеньким потянуло — гашиш из Казахстана по пятьдесят копеек за две-три папироски. Народ знал: можно и по морде отхватить, и под руку горячую «станцевать» в темноте. После очередного шухера людей точно становилось на одного-двух меньше. Берег-то в Оренбурге страшный: находили утром уплывших к Чапаеву по водам Урала... (То ли дело — гарнизонный Дом офицеров: дисциплина, замкнутое помещение, солдаты по периметру, патрули...) Но чему удивляться? Город в прошлом принял немало ссыльных, а после войны столько шушеры из тюрем выпустили — и не политических, конечно. Правда, бандюганы в нашем райончике были примерно моего возраста и своих не трогали. На тёмной улице было кому сказать: «Да отойди ты, это мой друг, мы в одном классе учились!» Ну и отца уважали...

АТТЕСТАТ ЗА ТАНЦЫ

С танцами у меня связано окончание вечерней школы... на халяву. Я к майору Пинскому пришёл за отпуском для подготовки к экзаменам за десятый класс, а он нахмурился: «Как это? У нас же танцы!» Лето, «макаронники» в отпуске, и в малом составе не хватало музыкантов. А потерять «хлебное» место до конца сезона (это, между прочим, четыре месяца), не выйди оркестр один день на эстраду, —

раз плюнуть! Но спустя пару дней, поостыв, дирижёр говорит: «Слушай, ты не будешь против, если получишь аттестат зрелости без экзаменов?» Покажите мне дурака, который отказался бы! «Тогда иди в санчасть», — сказал мне Пинский. Тогда в авиационной санчасти работали высочайшего уровня врачи, которые пользовались неоспоримым авторитетом. Вот вместе с ними и стали искать, за что бы зацепиться. Сразу выплыло зрение, а дальше... Дальше написали много всего: разве что на голову, как оказалось, я не жаловался. Но военную хитрость никто не отменял! В общем, с этой бумагой о придуманной медиками болезни можно было вывести в аттестате среднюю оценку по годовой успеваемости. Несмотря на всеобщее удивление в «вечёрке», я получил свой аттестат и прямиком отправился на танцы. Кстати, до сих пор не знаю, что в той отмазке было написано: почерк у врачей всё-таки неразборчивый.

С дирижёром не вышло...

После окончания вечерней школы надо было определяться на два года до срочной службы. Очень хотелось поступить в музыкальное училище. Как воспитанник оркестра, да ещё и с почти полным курсом музыкальной школы, с аттестатом на руках, я рассчитывал на вечернее отделение. Даже документы подавал в Оренбурге, но опоздал по срокам — пришёл осенью. И всё-таки меня прослушали, а потом спросили, на какую специальность я претендую. Комиссия удивилась, когда паренёк в военной форме с дешёвым кларнетом под мышкой выпалил: «Дирижёр!» (Я же не о лаврах думал, а лишь о том, где бы поменьше впахивать, как мне казалось, ну и по возможности чтобы руководить!) Правда, надо мной тогда подшутили — посоветовали ехать в другой город: в Оренбурге, мол, такого отделения нет. Хорошо, что мысль о дирижёрстве сошла на нет в моей голове довольно быстро: всё равно искал бы впустую. Мне ведь тогда невдомёк было, что для дирижёрского образования нужно сначала окончить консерваторию, например, как инструменталист или хоровик, а уже потом при наличии таланта поступать на второе высшее.

В общем, оставался оркестр. Но какой? В своём уровне я не сильно сомневался: играл всё-таки в профессиональных коллективах. При этом я не искал пути именно военного музыканта, скорее наоборот. Но понимал: в моей ситуации обучаться музыке можно было, только оставаясь в военной системе. Так сохранялся устроенный для моих обстоятельств и возраста быт, сытый, обеспеченный одеждой, едой и жильём. Но как решить последний вопрос: остаться или уезжать? Не только я — все воспитанники моего возраста обсуждали, куда съехать из Оренбурга: в пределах огромной страны мы имели свободу выбора. Лучшим вариантом переезда стала,

причём у немногих, Казань (например, там оказался будущий замминистра связи Татарстана Алик Натансон, мой сосед). Большинство же однокашников попали в Рязань, Омск, Томск, Красноярск, Новосибирск... Но меня эти края как-то не привлекали, к тому же, словно в тумане, всплывала в памяти история сгинувшего на Урале (как я тогда думал) деда Яна. Все мои родственные связи вели на запад. Потому я обрадовался, когда товарищи со времён Суворовского училища, с которыми даже в авиационном (а чем ещё заняться в казарме?) держал связь, сообщили о прослушиваниях в Москве и в Минске. И вот с начала лета до зимы пошла мучительная переписка училища с оркестром московской Военной академии имени Фрунзе. А между тем тот самый Зиновий Пинский, который помог мне с аттестатом, а ещё раньше забрал меня из Суворовского, не хотел отпускать юного кларнетиста.

Вплоть до комсомольского собрания...

Ну а дальше дело повернулось и вовсе неожиданным образом. В Оренбурге садоводство тогда не особо развивалось. Этнические оренбуржцы, те, что из казаков, выращивали бахчевые культуры да в основном огурцы с помидорами. А, скажем, яблони никто не держал: росли они в огромном единственном на всю округу саду при сельхозинституте. Стерегли ценность деда с двустволками, а ещё дневальный, воспитон или солдат. Как раз в моё дневальство пацаны из казармы отправились в очередной раз за яблочками на шару. Как назло проснулся сторож, пальнул из дробовика и попал в одного из воришек. У «жертвы» больше испуга, чем повреждений. Да и я отделался легко, никого не сдал: с воспитона какой спрос? Но на комсомольском собрании Пинский напирал на мою безответственность как на факт вопиющий. Так что потиранил меня майор и вполне мог не отпустить, сославшись на плохое поведение воспитанника Мисевича. Но всё-таки сдался: выписал дорожные документы на долгожданный вызов из Москвы... Когда я встретился с Пинским спустя много лет в Луганске, он мне признался: «Не хотел я тебя отпускать, но вижу, что хорошо сделал...»

НЕ СТАНУ ЧУЖИМ

Так и закончилась жизнь в Оренбурге. Мне дали шинель, пару копеек на дорогу до Москвы. Но пока тянулась переписка и оформление бумаг, сократили штат воспитанников оркестра Военной академии имени Фрунзе. Так что сделали мне перерасчёт, и сел в вагон я уже с новым направлением — в Минск. Воспитоны — та ещё мафия: приятели написали, что были места в оркестрах Штаба Белорусского военного округа и местного Суворовского училища (и даже



Оркестр Штаба Белорусского военного округа. В райдере — два грузовика и открытые кузова

выхлопотали новый вызов, благодаря чему успел переделать бумаги). Правда, в Минском суворовском к моему приезду воспитанов уже набрали. Да и без того сомнения не покидали: а вдруг оркестр в училище так же расформируют, как в Оренбурге?

А правда: не окажись вакансий в Минске... Ну, поехал бы домой, с повинной к майору Пинскому. Ясно, что бесплатного билета на случай неудачи не предусматривалось, а собранных матерью пяти рублей до Оренбурга не хватило бы. Так что отступать было некуда. Да я и не собирался, был уверен: не пропаду — в армии помогут. Но вне этой системы и вправду рассчитывать было не на кого. (Почти перед отъездом узнал, что в Минске есть знакомая моей двоюродной бабушки тёти Гэли, но эта старушка умерла спустя пару месяцев, и я её так и не увидел.) Разве что себя убеждал: под боком Польша, и практически на этнической родине не стану чужим.

«МИСЕВИЧ, А ТЫ НЕ ЕВРЕЙ?»

Когда я ехал в поезде из Москвы в Минск, мне казалось, что попадаю в город музыкантов! Я уже знал, что тут есть консерватория,

музыкальный факультет в пединституте, музыкальное училище, несколько оркестров. Это то, о чём я так мечтал: возможность «зацепиться», не пропасть со своей профессией в большом городе! С таким настроением 2 декабря 1962 года я вышел на перрон минского вокзала часов в семь утра. После сорокаградусного мороза в Оренбурге и холода в Москве столица Беларуси встретила дождём. Осмотрел здание ещё старого минского вокзала, задрал голову, впечатлился башнями на Привокзальной площади и покати́л искать «офис» Образцово-показательного оркестра Штаба Белорусского военного округа (в расположении полка связи на улице Маяковского). Уже от одного этого солидного названия Минское суворовское училище как-то поблекло в моих глазах. Да что скрывать: пацану-воспитану из провинции хотелось попасть в главный коллектив округа (а Белорусский и Киевский — самые крупные округа Союза), который соответствовал отдельному батальону. А это не менее шестидесяти человек личного состава (вдвое больше, чем в оренбургских училищах), два офицера-дирижёра... Считай, отдельная воинская часть с кухней, плацем, зданием. Пока сушил шинель, местные пацаны посвятили в бытовые подробности, показали кровати с панцирной сеткой в казармах (в Оренбурге были только двухъярусные), рассказали о требованиях в оркестре, а в столовой — накормили: воспитанникам полагался солдатский паёк, как и срочникам в полку связи. К восьми утра я уже умирал мандраж у какого-то подоконника и ждал прослушивания. Соискатель получал партии из текущей программы коллектива и исполнял их с листа (сновагодились четыре класса музыкалки). Первым слушал старшина Карпунин, концертмейстер группы кларнетов, потом главный дирижёр — начальник оркестра заслуженный артист БССР майор Александр Майзлер (вторым дирижёром был капитан Илларион Зарецкий, когда-то трубач, вышедший из воспитанников). Как долго и что именно играл, уже не вспомню, но репертуар новизной не огоршил, и по итогам прослушивания меня определили во вторые кларнеты, где я продудел пять лет, включая три года срочной службы.

А по-настоящему удивил меня в тот день единственный вопрос старшины. Пока Карпунин доставал из футляра парный деревянный инструмент (я видел такой чуть ли не впервые, а разница в звучании с моим эбонитовым огромная), он спросил: «Как фамилия? Мисевич? А ты не еврей?» Вот тебе и первый вопрос от старшего по званию и по возрасту на новом месте!

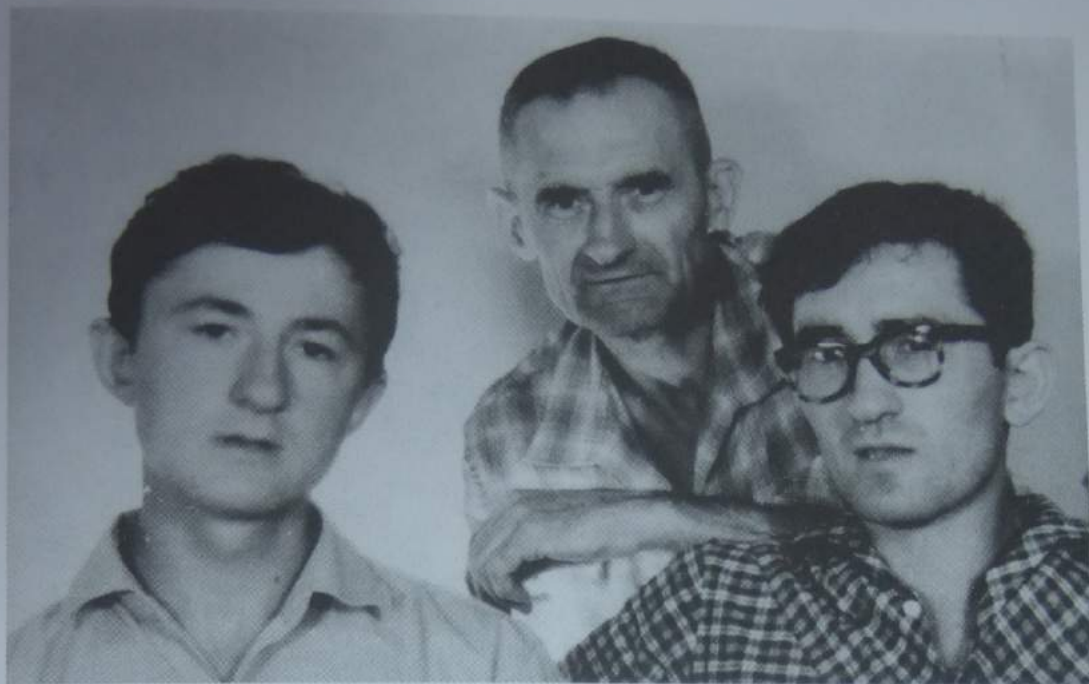
Мой «пятый пункт»

С тем, что еврей — это сомнительно, я столкнулся впервые. В нашем райончике на окраине Оренбурга евреи были уважаемыми

людьми: лучшие доктора, великолепные музыканты! Зато я до сих пор отчётливо помню детскую обиду от моих друзей, которых все называли общо Вовками (Володя Жилин, Володя Байцур и Володя Лисовцев). Только что общались в школе — а после уроков они забрасывают меня снежками и кричат: «Поляк! Поляк!» Я не понимал, за что дразнят, но было до слёз обидно: ну что не так с этим «поляком»? Правда, всё тут же забывалось: и дружить продолжали с Вовками, и в снежки играть. Может, это лишь частный случай. Ведь отец рассказывал, что полякам не удивлялись ни в Москве, ни в Великих Луках: двоюродная бабушка Гэля жила напротив родственников варшавянина маршала Рокоссовского. В любом случае то, что в детстве — беда, потом может отозваться приятным ощущением непохожести. Например, сразу же необычные для Оренбурга имена родственников вспоминаются. У соседей Иван Иванович да Пётр Петрович, а у нас Иван Фердинандович и Пётр Бернардович, Людвиг Леонардович и Бронислава Ивановна, тётя Яня и тётя Гэля, Станислава и Станислав, ну и, более-менее как у всех, Эдуард Осипович. Дома говорили по-русски, только прабабка по отцу Констанция Ивановна — по-польски. Звучала и белорусская речь с расхожими полусхотливыми полонизмами. Обе ветви вели на запад Беларуси: отцовская — в Сувалки и Белосток (хотя сам он родился и жил до четырнадцати лет в Москве), материнская — в Вилейку и Мядель. Причём недавно мядельцы после концерта «Белорусских песняров» уверяли меня, что у них полгорода Вержбицких и Смольских — может, просто однофамильцев моих предков, а может, их дальних родственников. Хотя один однофамилец уверенно отнёс фамилию Мисевич к прибалтийским полякам, даже поближе к немцам.

А поляк ли я?

Больше ничем наша польская семья не выделялась среди соседей, ни от кого не отмежёвывалась. (Единственное, что на почве «польскости» в семью было затесался мужичок в летах, который казался мне скользким типом. Он привёз с фронта жену-польку, которую приводил к нам поговорить. Но «друг» этот как появился из ниоткуда, так и сник в никуда.) Воспитали бы иначе, я говорил бы о себе уверенно: католик, поляк. Но ни дома, ни в армии, с её духом интернационализма, ни в профессии, когда тебя оценивают не по носу, а по твоей игре, не нужно было копать в этих вопросах. А осознание, приходящее со временем, даже при всей ясности фактов, требует уточнений. Например, старший на пять лет брат Казимир при получении паспорта записался (а записывали со слов) русским. И никаких вопросов, невзирая на имя и отчество, на то, что у отца и матери было написано «поляк» и «полька». У меня же



Отец и два сына: Владислав и Казимир (справа)

в «серпастом» паспорте и в свидетельстве о рождении — «поляк» в пятом пункте. И вот вопрос: ощущал и ощущаю ли я себя поляком? Ведь даже при смене паспорта в наши дни я так и не изменил советизированное отчество Людвигович на правильное — Людвикович. Хотя с возрастом мне стало интересно узнать о своих корнях, разобраться, почему Людвик стал Людвигом, из Яна делали Ивана, а из Яновичей — Ивановичей, да и отчество не во всех паспортах мира присутствует...

КАК Я В ПОЛЯКИ ЗАПИСЫВАЛСЯ

А однажды соседка по даче Наташа Потоцкая убедила позвонить и разузнать о карте поляка. У меня на том конце провода строгая дама спрашивает имя. Называю: «Мисевич Владислав Людвигович». Голос потеплел: «Всё понятно! Несите документы, с вашими данными и так всё ясно. С языком поможем, ну и вы же что-то помните». А самое главное, говорит мне дама, соискатель карты должен разделять ценности Польши и поляков, нести их везде, где бы ни находился. И вот тогда я точно ответил на свой давний вопрос: я — оттуда, но не их. Прожив без ценностей, которые теперь культивирует моя этническая родина, разделить их все не могу. «Молодец, ты смог разобраться, найти точку опоры», — даже похвалил я себя после этого звонка и новенький самоучитель польского языка, на всякий случай купленный, забросил куда подальше. Уже второй: попытка выучить польский по самоучителю была и в армии. Кстати, благодаря этому разговору я, кажется, понял, с чем за душой



Несколько раз съездил на малую родину польского рок-музыканта Чеслава Немена — первой мировой звезды, которую встретили «Песняры» во время первой же поездки за границу, в Польшу. 2015 год, деревня Старые Василишки Щучинского района Гродненской области: чудесные милые люди, бережно хранящие память о своём земляке. Фото: Сергей Трефилов

уезжал из Союза Чесик Немен. Сколько доводилось встречать таких белорусских поляков: отличались они знанием ещё одного языка. А идеи Польши он, может, и разделял, но с коррекцией на ценности белорусской деревни. Без них Чеслав так и не смог жить: чего стоят заказной автобус, ряд для земляков на его концерте, тяга побывать в родных краях, когда он рванул на день из Москвы в свои Старые Василишки на Гродненщине. Эти его порывы я только в своём теперешнем возрасте остро осознал, когда от Оренбурга моего детства остались одни воспоминания, а многих школьных друзей и родных уже нет на свете.

На родине Немена сейчас его музей. Я дважды побывал там. Вековой дом, где родился и рос Чеслав, воссозданный дух его семьи, невероятные люди, что поддерживают очаг памяти. А ещё я погрелся у печки, которая помнит прикосновение рук Немена.

А КРЕСТИТЬ БУДЕТ САМ КАРДИНАЛ!

Похожая ситуация у меня сложилась и с религией. Настоятель одного из новых католических приходов Минска ксёндз Игорь хотел вернуть меня, неверующего, в лоно церкви. По его настоянию я ходил на службы, где мне даже нравилось, а ксёндз обещал, что крестить меня будет сам кардинал Свёнтэк — тогда глава Белорус-

ской католической церкви... Но прими я в своём возрасте религию в прямом и в переносном смысле, утратил бы почву под ногами. Когда-то её с такой же активностью, как теперь пропагандируют, но с точностью до наоборот выбивали дубиной из бабушки по материнской линии — Дарьи Мартыновны, и она, помню, всё причитала: «Скоро умирать, а ксёндза нет...» (При этом под той же крышей жили убеждённые атеисты — мой отец и вторая бабушка Мария Эдуардовна, напомним, имевшая знакомство с Чкаловыми, которое религиозности явно не способствовало.) Кстати, после войны многие польские семьи и по этой причине уезжали из Оренбурга. Правда, сейчас всё изменилось: на моей родине уже два костёла, а потомки высланных повстанцев Кастуся Калиновского не скрывают своей веры и национальности, как полвека с лишним назад. Ну а на той волне тётя Яня, дядя Геня и их дочка Галя перебрались в украинский Кременчуг, где — и это тоже существенный фактор — как раз строился автозавод. В Украине Галка вышла замуж за Лёшу Горянинова: скромнейший человек, он стал впоследствии главным инженером, потом директором КрАЗа и всегда принимал и нашу семью, и ансамбль с распростёртыми объятиями.

НЕОПРЕДЕЛИВШИЙСЯ, НО В КАЙФЕ!

Останусь я советским человеком — и при этом польским, белорусским, русским. Надеюсь, советским — без закорюченности или враждебности к новому. Скажем, уже после семидесяти я, неверующий, поцеловал чудотворную икону в одном из белорусских монастырей. Не сам, без молитвы, которым я не обучен: священник предложил поклониться лику Богородицы, отдавая дань уважения к месту, где я тогда оказался буквально на день. И это для меня нормально, тем более появился шанс соприкоснуться с тем, с чем я никогда не был рядом. Так что не поспоришь: не перечить зла в истории СССР. Но ведь сколько хорошего было! Зачем рисовать прошлое только тёмными красками? Пусть это мой личный опыт, но советская система кормила и одевала меня в армии, дала образование, позволила сделать карьеру и увидеть мир. Одни кайфы! А как стать заслуженным артистом БССР и не ощущать себя белорусом? Да и «ломочные» процессы самоидентификации завершились: советский паспорт я сменил на белорусский не сомневаясь. Как-то я перебрал своих родных по обеим линиям и пришёл к выводу: ты, Мисевич, как минимум на какую-то часть белорус! Корооче, неопределившийся, но в кайфе! Я корнями врос в эту землю — и хрен меня отсюда выдернешь!

Помню, как после развода всерьёз пробовал осесть на Кавказе, в Москве и даже в американском штате Нью-Джерси. И было

с кем, было где, готовы были ждать столько, сколько потребовалось бы. Только я всё-таки никак не мог уяснить для себя, кем же я стану вне Беларуси. Короче, отовсюду в считанные дни срывался в Минск. Из-за такого своеобразного отношения нас, славян, наверное, и не понимают на Западе. Я, пожалуй, и сам себе тогдашнему задал бы пару вопросов. Ведь что было у меня тут? Развёлся, несколько бесцельных лет пил в общаге, а страна и ансамбль, которые мне всё дали, одновременно разрушались. Даже странно, что после очередных гастролей позвонил другу — журналисту и спортсмену Толе Литвинскому: «Что, — спрашиваю, — есть нормальные девушки в Минске ещё?» И повёл Толя меня в одну театральную семью, что жила недалеко от общаги на минской улице Волгоградской. Правда, к театру меня не потянуло, когда увидел соседку семейства. Это была Оля, моя будущая жена, любимая Птичка. Она и поставила точку в моих раздумьях, кто я и где мне жить.

«Вот что значит дворянская кровь в тебе!»

Уже с первых дней моей жизни в Минске стало ясно: тут никто не выкатит глаза, к примеру, от моего «странного» отчества. Ведь в Оренбурге во мне отзывалось чувство, что я — не отсюда по происхождению, по ментальности. На уроках географии всегда выделял для себя Беларусь, хоть одноклассники нередко путали её с Украиной: какая, мол, разница — одна страна... Мне представлялось, что я приеду в Минск в командировку и увижу своими глазами то, о чём рассказывал отец. А вспоминал он о деталях, например о табличках на четырёх языках на минском вокзале, ещё в «белорусском контексте» дома говорили о Мяделе, Вилейке, Белостоке, Сувалках, Брест-Литовске, Витебске... Надеялся я побывать и в Польше. Думал, что там меня приняли бы с распростёртыми объятиями! Но в первой же заграничной поездке «Песняров» в Сопот никто не кинулся с возгласом: «Да ты наш, поляк!» Хватало таких фамилий, таких судеб...

Иногда задумаешься: а что я знаю о семье? То, что отец 1910 года рождения, а мать — 1914-го? Не приучили нас к таким знаниям, а сам я опоздал с расспросами. Но даже в совсем другие, горбачёвские, времена отец очень дозированно говорил о прошлом. Почему? Думаю, нас жалел и себя не хотел будоражить болезненными воспоминаниями. И пусть не страх, но чувство опасности в семье витало: со стороны матери и со стороны отца были репрессированные родственники. Только недавно сестра выяснила, что деда по маминной линии Ивана Фердинандовича Вержбицкого (по-домашнему — Яна) забрали ноябрьской ночью 1937 года в Великих Луках, а 2 января 1938-го приговорили к расстрелу. Гардеробщика в парикмахерской, бывшего железнодорожника... А я думал,

что он сгинул на Урале — десять лет без права переписки. (И мама его искала много лет, но уже утром после ареста деда сотрудник органов толкнул её с лестницы со словами: «Ещё раз появишься — пойдёшь вместе с ним».) Отца, электрика, чуть не после школы тоже вызвали. Но ему, умному, толковому пацану, спас жизнь начальник цеха. Он положил на стол партбилет и сказал: «Если что-то натворит, то и меня заберёте». Но репрессии, конечно, просто так не закончились: после ареста деда родственников с учёбы или работы повыгоняли, ни мать, ни отца не брали даже на рабфаки (а это настоящее высшее образование как-никак). И таких людей — целый класс: с училищами и техникумами, как у моих родителей, хотя способности позволяли и на диплом института претендовать. А из-за чего на них падало подозрение? Наверное, как на поляков, а на отца ещё и как на дворянина (до революции у его семьи был выезд в Киеве, под Москвой дача). Правда, разговоры на эти темы категорически пресекались.

Помню, как в Оренбург приезжала тётка отца — моя двоюродная бабушка Гэля. И в застолье она нет-нет да скажет ему: «Вот что значит дворянская кровь в тебе, Людвиг!» Отец не выдержал, подскочил, вывел её в сарай и зашипел: «Иди и скажи, что ты всё это придумала!» Помню я и то, как в 1972-м он с прохладцей среагировал, когда я ему рассказал о польских родственниках, которых звукорежиссёр «Песняров» Коля Пучинский встретил в Познани. В случайном разговоре Коля упомянул, что в нашей группе есть поляк по фамилии Мисевич, а дальше потянулось: Людвиг, Леонард... У отца сразу страшок — вот связь с этой ниточкой и заглохла, даже не начавшись. При всём этом единственная критика советской власти от батьки, искреннего коммуниста, прозвучала только в его последнюю ночь. Умирая, он вспомнил: «Горький сказал, что человек — это звучит гордо». Потом руку приподнял и махнул: «Да где же в нашей стране “гордо”?..» Правда, однажды, говорят домашние, «смалодушничал». «Вражеские голоса» не слушал принципиально, но сдался тогда, когда «Песняры» были в Америке. Потом все последние годы с приёмником так и засыпал каждый вечер — «ловил», что скажут из-за океана. Ещё я хорошо запомнил 5 марта 1953 года. Утром с гудком на заводе из репродукторов звучала речь дядьки с акцентом, но не Сталина. Это был Берия. Вся школа в тот день заливалась слезами, а мой отец что-то не грустил особо, не плакал, но был настороже: кто знает, что за кадры придут. А они и появились. Только уже не людоеды. Нажрались до этого...

Наверное, шанс узнать что-то о своей семье я упустил. «Белорусские песняры» однажды отработали концерт в Центральном российском архиве, где нам предложили найти кого хочешь за небольшие

деньги. Почему-то не воспользовался тогда предложением. А сейчас думаю: раз отец из дворян, значит, это упростило бы поиск — документов осталось побольше, чем по другим сословиям. Да что бумаги: некоторые семейные «предания» я недавно услышал впервые. Отец служил в Красной армии. Это было в 1930-м в Витебске. Из тех времён он часто повторял историю о том, как ночью дежурил у озера. Тогда выдавали по два патрона: один — себе, другой — врагу. От нечего делать отец щёлкал затвором винтовки, и один патрон упал в воду: всё обшарил в темноте — нет патрона. А утром бы за такую безалаберность — расстрел: прощайся с жизнью! Но повезло: на заре он снова загрёб ил и нащупал этот злосчастный патрон... Или история о том, как прабабка Констанция Ивановна спасла прадеда на фронте Первой мировой войны. Ему принесли письмо от супруги, и только он отошёл в ответвление окопа, как на оставленное место попал снаряд! Или почему вилейская и мядельская родня у нас то католики, то православные? Оказывается, когда поляки перекрещивались в католиков, прадед было отказался. Ему за это — двадцать пять палок! Тогда он по-философски заметил: «Ай, хоть в евреи!»

Это всё сестра Галя разведала, которая копается в семейной генеалогии! Недавно она узнала, что мамыны братья Владик с Юзиком, которые ушли на фронт в Ленинграде и числились пропавшими без вести, похоронены в районе Старой Русы. А пару лет назад в мядельском костёле нашла подтверждение обгоревшему документу о венчании бабки и деда. Я знал о существовании этих бумаг, но она обнаружила, что ещё больше информации в храмовых книгах, которые осели в Вильнюсе.

Поцелуй Соловьёва-Седого

Первые полгода в Минске ушли на адаптацию к большому городу и к новой жизни в коллективе, куда я влез по собственной инициативе. В общем, присматривался к начальству, к музыкантам. Попробовал было подать документы в Минское музыкальное училище имени Глинки на вечернее отделение (кроме необходимых анкет и справок предъявил ещё и грамоту из музыкальной школы — всё, что указывало на моё обучение там), но в декабре абитуриенту, только-только приехавшему из Оренбурга, удивились: приходите летом! Нашёл в этом плюс: «пахота» военного оркестра, подготовка программ, праздников и парадов — хорошая практика. По округу, по военным частям, Домам офицеров и «гражданским» Домам культуры нас отправляли с «рядовой» программой. Но начальник оркестра Майзлер не упускал шанса подтвердить призовое место во Всеармейском конкурсе 1960 года (ведь собрали действительно сильных

ребят — призывали прямо из консерватории). Талантливого дирижёра и заинтересованного организатора ценили за подготовку специальных программ. Мы выступали с ведущими солистами минской оперы тех лет: Зиновием Бабием, Тамарой Шимко, Виктором Чернобаевым, а сколько раз исполняли произведения Анатолия Богатырёва, Владимира Оловникова и других белорусских композиторов в их же присутствии — вообще не перечить! Из звёзд союзного масштаба запомнился концерт Василия Соловьёва-Седого во Дворце культуры камвольного комбината. Знаменитый композитор, видимо, был встречен по всем правилам и, пошатываясь на сцене, горячо поприветствовал поцелуями и знамя, и знаменосцев, чуть ли не автоматы (майор Майзлер только и успевал цыкать на нас в яме, чтобы не смеялись над классиком!).

Ещё оркестр поднимал переложения симфонических полотен с виртуозными партиями для духовиков всех мастей. Будь на то возможность, майор Майзлер чаще брал бы именно симфонический репертуар. Но филармоническим симфоническим оркестром он дирижировал — в основном дневными концертами с популярной классикой. Правда, посещение этих «детских» (так их называли) выступлений было обязательным для подчинённых майора Майзлера. Конечно, пару раз я ходил, но, при всём уважении к маэстро, находилось немало других, более интересных занятий в те дни...

«Недодушил» из-за воспитона

От кларнетов в глазах рябило — три группы, как скрипок у симфонистов! Ни труб, ни валторн, ни гобоев, ни флейт столько не было. В первом ряду сидели «макаронники», а ещё амбициозные срочники и воспитанники. Но целая куча талантливейших ребят не искала лишней работы и пребывала во вторых и третьих группах. Меня лично устраивало место помощника второго кларнетиста. Ну а что? Ближайшая цель — музыкальное училище, вот и готовься! И поступил я туда снова-таки по классу кларнета на следующий год — сам, никаких льгот для воспитонов не было, кроме «зелёного света» в оркестре. В общем, нагрузки хватало: другая тщательность и глубина пошла. Хорошо, что мой педагог Лев Прыгунов понимал: перед ним армейский пацан, который готовится к занятиям по мере возможностей, ну и я уже был привыкшим после вечерней школы. Правда, не станешь повышать квалификацию — вышлют вон из Минска в глухой полковой оркестр. Но всё-таки пока ты воспитон, можно и пофилонить. А вот срочникам Майзлер не спускал и малейшей провинности. Более того, ввёл «круговую поруку»: учись музыке на «пять» или не учись вообще, не сдаст

экзамен один — училище заказано всем срочникам до конца службы. Причём в общий зачёт шли даже двойки у воспитанов. Значит, шанс посыпаться на первой же сессии возрастал. Конечно, всё это было негласно, но зато снимало груз с самого майора. Дело в том, что солдатам в общем-то нельзя было параллельно со службой ещё и учиться. Разве что в порядке исключения за серьёзные заслуги и под ответственность командира давалось добро. Вот Александр Филиппович от «ноши» и избавлялся. Скажу сразу: одной из жертв «круговой поруки» я, уже солдат, стал по вине именно воспитанника оркестра, ныне известного белорусского дирижёра, который что-то не сдал по специальности (тромбону) с первого раза. Ему-то майор Майзлер поставил на вид, а вот на моём училище появился жирный крест. И пусть пересдал воспитан всё с первого раза, но начальник-то ничего назад откручивать не собирался. «Разве ты от этого хуже заиграешь? — задавался риторическим вопросом майор в своих рассуждениях и сразу же отвечал: — Конечно нет!» А с музыкантом тем мои отношения по жизни так и идут неровно. Недавно буквально нос к носу столкнулись в Витебске во время «Славянского базара». И ведь разговора, считай, не было, а бывший коллега побежал на всякий случай поближе к охраннику той гостиницы.

НАСТОЯЩИЕ МУЗЫКАНТЫ

И всё-таки училище на приличный срок стало отдушиной, шансом приблизиться к миру настоящих музыкантов, которые там, за забором казармы. Это было настоящее счастье! В минской консерватории, помню, в те годы блистала школа пианистов, тут преподавала, среди прочих, сестра известнейшего композитора Софии Губайдуллиной. А духовики какие! Сразу же вспоминается великолепный гобоист Юрий Тёмкин, замечательный флейтист Владимир Харитонов и многие-многие другие. Среди педагогов училища запомнился преподаватель оркестровых дисциплин Глеб Оловников, брат ректора консерватории, известнейшего белорусского композитора Владимира Оловникова. Потрясающим музыкантом был Яков Лосев. Сам я у него не учился, но знал, что это один из ведущих кларнетистов Минска. А ещё притчей во языцех был пожизненный страх Лосева, как бы его не посадили из-за пятна на биографии: подростком играл на кларнете в офицерском казино в оккупированном фашистами Минске. Пятно это долго не отпускало. Даже когда его ровесники, коллеги по оркестру поголовно получили звания, ему всё не давали. Ну и, конечно, любой минский музыкант того времени, и я в том числе, считал своим долгом подколоть Яшу: «Так в каком зале, говоришь, немцам играл?»

БАЛБЕС И «ВЫШКА»

В эти три с чем-то года на вечернем отделении музучилища я наконец почувствовал, что в жизни всё пошло по правильному пути, несмотря на потерянное из-за переезда время. Но после «дембеля» восстанавливаться в училище не стал: была такая мысль, но началась работа, моё вечернее отделение там отменили, а заочного просто не оказалось. (Я ещё подумал: не доучился год в музыкальной школе, пришло время тут не доучиться полтора.) И ведь хотелось идти дальше, получить высшее образование, но снова клин: перед моим годом призыва на срочную службу в Белорусской консерватории отменили военную кафедру. Да и с незаконченным училищем шансов поступить не было... Так что мысль о «вышке» терзала меня долгие годы: а может, надо было, как мой сослуживец Гриша Куринец, твёрдо идти к цели? Тем более когда узнал о сильнейшей минской школе духовиков... А ведь Гришка сразу решил поступать в Ленинградскую консерваторию, причём он нашёл клёвую лазейку: «консерва» недавно открыла филиал в Карелии, и туда поступить было проще, а диплом — как в Ленинграде! Гриша неприметно сидел в третьих кларнетах, тайком готовился к экзаменам, пока Майзлер случайно не услышал в казарме блестящую игру Куринца. Утром майор переводит моего приятеля в первые кларнеты вторым номером и приказывает сыграть «как вчера». Но Гриша дует еле-еле. Так он благополучно вернулся на прежнюю позицию и дождался конца службы, не раз отказываясь от повышений до первого кларнета. Ну а для меня, наверное, бог выдумал минский «кулёк», где трёх курсов музучилища хватило для зачисления. Там я почти безболезненно получил диплом в сорок лет — единственный, кроме доставшегося на халяву школьного аттестата, документ о законченном образовании! Почему так стремился закончить институт? Высшего образования для своих детей трепетно желали мои родители. Папа наш всё повторял: «Надо учиться». Выходит, только я, балбес, затянул этот этап. До сих пор помню чувство волнения и исполненного долга (и это в сорок лет!), когда писал отцу о выпуске из института: наконец-то сравнялся в его глазах с братом и сестрой.

Обиделись и «уводили» офицерские ложки

Жизнь в оркестре определял распорядок. Индивидуальные и групповые занятия музыкой, наряды, дежурства, муштра по военной части... Но эта текучка забылась, ведь в армии живёшь хохмами, которые развеивают смертную тоску и разбавляют мелькание одних и тех же лиц. Вот как, если не скукой, объяснишь, что на фуршетах для генералитета мы «уводили» со столов серебряные ложки, если оркестрантов «забывали» покормить? Правда,

выбрасывали трофеи в урны возле Дома офицеров. Рядом с алюминиевыми такие ложки в казарме не положишь!.. Так что всё, вносящее разнообразие в скуку между репетициями и казармами, становилось поводом для шуток и обсуждений в курилках. И былей про командиров — в избытке!

Скажем, после перевода в Минск из группы советских войск в Венгрии нового начальника военно-оркестровой службы округа Бориса Пенчука на наших глазах развернулась настоящая «драма». Высокий красавец с усами, любимец женщин, будущий полковник и народный артист БССР, а пока просто дирижёр оказался в «контрах» с майором Майзлером, уже заслуженным артистом БССР. Причина банальная: кто главнее. Пенчук командовал всеми оркестрами округа, кроме нашего, штабного, но его должность сводилась поначалу к администрированию полковых (их называли «лесными») коллективов. Да, на парадах начальник службы руководил сводным окружным оркестром из трёх сотен человек, но положение обязывало Пенчука утверждаться и за пультом главного коллектива.

«ДРАМА» ПОД САЛАТИК

Конечно, выяснение отношений между дирижёрами происходило за закрытыми дверями. Но перед нами появлялся то улыбающийся Майзлер, великолепный музыкант, виолончелист, выпускник Московской консерватории, который чувствовал превосходство как музыкант (и лишняя звёздочка на погонах оппонента его не смущала), то растерянный Пенчук. Напряжённость в отношениях между ними выходила даже за пределы оркестра. Когда у Пенчука умерла тёща, заслуженный человек, партизанка, он попросил Майзлера прислать ребят в помощь. Только мы со всеми печальными хлопотами управились и получили приказ идти в казарму, как подполковник срезал авторитет майора: пригласил помянуть тёщу за общим столом всех солдат, а не только Майзлера и Зарецкого. Мы в уголке только и считали награды выразивших соболезнования высоких чинов, а как прикоснуться к еде и выпивке не знали (и противоречия командиров усложняли ситуацию). Тогда Пенчук как-то по-человечески просто сказал, чтобы не стеснялись. Мы и не стали! Закончились поминки тем, что один из наших ребят, Толя Лещинский (позже дирижёр, кстати, один из его учеников — Саша Липницкий, с оркестром которого «Белорусские песняры» отработали сольник), перебрав, обратился к Майзлеру: «Товарищ майор, а передайте, пжалста, салатик». Тому пришлось, скрипя зубами, передавать под хитрым взглядом Пенчука. А встали мы из-за стола вместе со всеми. Вот это был полный кайф!

Но майору, конечно, хотелось оставить последнее слово за собой (а заодно и сделать назидание солдатам). Только мы вышли на улицу, Майзлер с соответствующим случаю пафосом произнёс: «Здесь уместно вспомнить одну известную русскую пословицу...» Крепко выпивший капитан Зарецкий посмотрел в вечернее минское небо и, вспомнив о теще Пенчука, вздохнул: «Да, все мы там будем...» Разочарованный майор просверлил его затылок глазами, покачал головой (капитан испортил эффект от воспитательного момента) и уточнил: «Нет, товарищ капитан, я имел в виду пословицу о том, что друг познаётся в беде!»

И всё же именно после рассказов о поминках оркестранты к Пенчуку стали относиться с большей симпатией. (Интересно даже, а может, эти поминки стали тактическим успехом нового начальника?) Ну а решил конфликт дирижёров только приказ по Советской армии, по которому начальников военно-оркестровых служб округов определили художественными руководителями штабных коллективов.

БОЛЬШЕ ВСЕХ НЕ ХОТЕЛ ПЕТЬ!

Чтобы хоть приблизительно понимать человека, с ним нужно жизнь прожить. Причём в разных качествах, на разных ступенях. Пенчук оказался достаточно простым в общении, в быту. Мои отношения с Борисом Михайловичем потеплели, когда мы поселились на соседних дачах и устраивали посиделки. Но и в самом начале пути «Песняров» меня, Володю Мулявина и Шурика Демешко (того, которого он сам, совсем недавно царь и бог, сослал куда подальше — в «лесной» оркестр) армейский командир не раз приглашал отметить встречу на совместных мероприятиях и не принимал отказов! Причём на одной такой встрече нас, гостей полковника, обслуживал майор, сменивший Майзлера на должности начальника штабного оркестра: то закуску приносил, то чай заваривал.

А однажды после концерта «Песняров» подходит ко мне Пенчук и говорит: «А ты, Мисевич, поёшь неплохо. Так какого же хрена не хотел петь на параде?» И правда, в своё время полковник решил добавить к проходу оркестра перед трибуной с Петром Машеровым и другими руководителями БССР вокальный фрагмент: «Когда поют солдаты, спокойно дети спят...» Причём все знали, что первый секретарь ЦК Компартии Беларуси любовался экспрессивной манерой Пенчука (и это наверняка ускорило получение им звания народного артиста — редкость для армейских музыкантов). Ну, спеть-то не сложно, и получалось хорошо (это мы за месяц репетиций на Центральной площади Минска поняли по реакции прохожих),

но дух противоречия (задача-то лишняя!) прорывался. Вспомнив всё это, отвечаю: «Все триста человек не хотели!» Но у Бориса Михайловича с чувством юмора всегда было неплохо: «Так ты же не хотел больше всех!»

На восьмидесятилетии Пенчука, когда он дирижировал оркестром, перед глазами пробежало немало эпизодов, за которые начальник военно-оркестровой службы округа мог сгноить рядового Мисевича в минской комендатуре. Это он когда-то обещал Тырде (Саше Тихановичу — будущему солисту «Верасов», народному артисту Беларуси) за удачную, кстати, пародию на его манеру отдавать приказы характерным скрипучим голосом. «Равняйся! Смирно! И не ходи! И не шевелись!» — прикалывался в курилке Саша под хохот пацанов, когда у всех вдруг отвисла челюсть. Пенчук отнял у Тихановича пару месяцев жизни своим криком из-за спины: «Сгною!» Правда, не сгноил он никого: розыгрыши и шутки обходились без «санкций». Даже тогда, когда дирижёра крупно разыграли Фима Шехтман и Миша Финберг (первый сейчас в Чикаго, второй — народный артист Беларуси, руководитель Национального академического концертного оркестра). Они помладше меня, и после нескольких лет воспитонами в том же оркестре штаба поступили в «консерву», где снова появилась военная кафедра. И дирижирование преподавал... всё тот же Пенчук, так что муштра продолжалась. Финберг и Шехтман выбрали для розыгрыша день репетиции парада. С кузова грузовика Борис Михайлович следил не только за «коробкой» оркестра, которая в любую погоду маршировала по площади, но и за чёрными «Волгами» с начальством. Одна притормаживала подальше от строя, другая подъезжала ближе, и высокопоставленный пассажир выходил пожать руку. Заранее дирижёр скрипел зычным голосом: «Оркестр! Слушай мою команду! Внимательно! Будьте все внимательны!» А затем жестами: раз-два — и снимал музыку! Если начальник был большим, то Пенчук при полной выправке спускался с кузова и шёл к нему сам, если поменьше — приветствовал с «постаментов». А однажды чёрная «Волга» подъехала к Пенчуку так близко, как никогда. Он уже сделал распоряжения оркестру и, отдав честь, стоял в кузове. Из машины тем временем вышли здоровяк Шехтман с огромной зачехлённой тубой и стройный Финберг с тромбоном. Не глядя на окаменевшего от недоумения дирижёра, они прошли вдоль строя. Триста человек (среди них и я) падали со смеху, а контрастные фигуры главных героев удалялись в противоположном направлении, в сторону консерватории. Их расходы на розыгрыш — пара рублей в складчину водителю той самой чёрной «Волги», чтобы провёз полквартала и быстро исчез. Кстати, после этой

вольности дирижёр нажимал-таки на Шехтмана и Финберга в учёбе, но ничего с ними поделаться не мог: «гражданка»! А по музыкальной части и успеваемости претензий к ним не имелось.

ШЕСТНАДЦАТЬ ПАРАДОВ, НЕ СЧИТАЯ КУРГАНА СЛАВЫ

Парады в те годы проводили 1 мая и 7 ноября. То есть воспитанном и срочником в Оренбурге и Минске я отыграл шестнадцать парадов. И это не считая десятков других мероприятий. Например, после церемонии насыпки Кургана Славы под Минском оркестрантам тоже дали возможность положить по горсти земли, а уже за нами пошли бульдозеры, которые быстро довершили дело. Кстати, участвуя в парадах, я понял разницу в расхожих выражениях «земля гудит» и «земля трясётся», а заодно учился разбираться в настоящей всемирной любви. К двадцатилетию Победы (едва ли не первое массовое празднование в Минске) наш оркестр участвовал в шествии на тогда ещё Центральной площади — сегодняшней Октябрьской.



Перед парадом, но уже с медалью «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Это единственная медаль, которую мог получить в то время рядовой, и единственная моя награда за время армейской службы. Такой же, кстати, наградили и Володю Мулявина в дни празднования двадцатилетия Победы. На снимке первый ряд (справа налево): Леонид Соколовский, далее сослуживец, чьего имени я не вспомнил, собственно медаленосец Мисевич, коллега-кларнетист рядовой Михайлов; второй ряд (слева направо): Игорь Жуховцев, Эдуард Семеняко, тот самый, что привёз из Польши аранжировки многих популярных песен, которые играл наш военный квартет. Думаю, минчане колонны цирка, у которых и сделан снимок, узнают сразу

Оркестр стоял напротив трибуны, можно было рассмотреть всех почётных гостей, например только-только заступившего руководить республикой Машерова. Так вот, когда объявили маршала Баграмяна, площадь по-настоящему загудела. Ну а когда назвали маршала Рокоссовского, земля задрожала под ногами от приветственного возгласа переполненной площади.

А СПИРТ НЕ ПОЛАГАЛСЯ

Меня даже демобилизовали 8 ноября 1967 года. Ведь накануне я ещё отыграл парад к Дню Октябрьской революции в составе сводного оркестра! Музыканты сменяли друг друга на площади, а во Дворце профсоюзов получали от старшин спирт для разогрева рук (тогда в ноябре, да и в мае тоже, было стабильно холодно). Это особенно актуально для кларнетистов, которые играют подушечками пальцев без перчаток. Остальным духовикам проще — клапаны-то закрытые. В такие дни прямо в трубы жидкость заливали, чтобы спиртовое дыхание не давало замёрзнуть клапанам. Спирт полагался и на валторну (её называли «шахна», как и женский половой орган на сленге тех лет: все инструменты держат вперёд, а валторна гудит на стоящего сзади). И один из валторнистов заранее подготовился к параду. Жидкость перелил в спрятанную грелку, к ней приспособил трубочку, которая доходила до воротника. В паузах он потягивал из трубки спирт. Но однажды наш коллега не выдержал: валторна громыхнула о камни мостовой на площади, а за ней упал и проспиртованный валторнист. Из трубочки у его шеи продолжал струиться спирт...

И НИКАКИХ ГАЗЕТНЫХ ПРОБОК!

Кстати, спиртом коллектив обеспечивали заблаговременно (бывало, и в октябре температура падала ниже нуля) в канистрах-флягах литров на пятнадцать. Практически весь расход шёл на последние репетиции перед парадом и в сам день торжества. До того ёмкости под пластилиновыми печатями хранились в каптёрке у старшин Уличкина и Иванова. Причём о соседстве с таким количеством спирта никто и не думал, пока один из дневальных в замочную скважину каптёрки ни увидел, как старшины разливали «амброзию» из канистры по кружкам. Обсудив этот факт в кругу человек пятнадцати, мы решили своих командиров не закладывать: на их месте поступили бы точно так же. Но придумали способ заполучить часть спирта. Когда Уличкин и Иванов уходили со службы, спирт сдавали дневальным, то есть нам. Оставалось только накалённым лезвием срезать эти печати из пластилина так, чтобы аккуратно их на то же место и вернуть. Затем разлили, как оказалось, уже разбавлен-

ный примерно до сорока градусов спирт в десятка полтора бутылок (стеклянных, конечно: пластиковых тогда ещё не было). Вместо пробок использовали мятые газеты. Мини-бар спрятали в пожарный ящик с песком и потом пару недель на ужин шли в особо приподнятом настрое. Каждому из «заговорщиков» от бутылки перепадало по полкружки. Но какой была наша радость, когда, убирая от окурков пожарный ящик спустя приличное время, дневальный «на авось» раскопал там... забытую бутылку. Но стали плевать, только пригубив находку: вода водой. С тех пор знаю точно: газетной пробкой затыкать алкоголь нельзя! Кстати, нашу операцию тогда никто не раскрыл!

Пока я хоронил очередного полковника...

За годы службы в оркестре больше всего запомнились бесконечные похороны армейских чинов. Сколько их отыграно — даже не возьмусь подсчитать. Происходили такие события круглый год, а участников оркестра привлекали к похоронам начальников от полковников и выше. В состав «похоронной» группы, как правило, входили три-четыре срочника и человек пять воспитанников. В общем, после нескольких раз я да и другие оркестранты уже не обращали внимания на печальный характер происходящего и на слёзы родственников. Со временем мы могли с закрытыми глазами определить нужный участок и аллею. Даже за гробом не следили! Во время одной из процессий на Восточном кладбище звук тубы весельчака Фимы Шехтмана стал отдаляться. Поскольку идём не в ногу, то сперва даже внимания не обратили. А потом оказалось, что Шехтман свернул на другую дорожку и отходит всё дальше, играя в своём ритме. Оказалось, он не специально отстал, а из любопытства: просто решил узнать, кого похоронили на знакомом участке



А это я с незабвенным моим другом Фимой Шехтманом (слева). Стоим приблизительно на месте нынешнего минского Дворца Республики. Наверное, в перерыве репетиции очередного парада

за время нашего не очень длительного отсутствия. Тем временем старший нашей группы свирепеет, но потом и он со всеми в оркестрике начинает хохотать. Родственники покойного, ясное дело, недовольны смехом, так что получили мы по их жалобе крепко... Впрочем, уже сами похороны были для нас наказанием.

С этой темой связана ещё одна история, которая приключилась со мной, Фимой Шехтманом и Володей Кутузовым на минском Кальварийском кладбище. Двоих-троих воспитанов отправляли в случае учебной тревоги оповещать сверхсрочников. И вот однажды нашу тройку среди ночи послали с этой целью за Кальварию, в деревню Тивали, на месте которой теперь кинотеатр «Аврора» и гостиница «Орбита». Мы шли через весь Минск и за разговорами не заметили, как срезали путь по старому кладбищу. Выполнив поручение, идти назад через кладбище не хотели, но как тут не ускориться, чтобы в казарме подольше поспать! Рискнули — и уже ближе к выходу услышали звук, как будто кто-то копает землю. И вскоре увидели человека, который стоял в яме и орудовал лопатой. Мы даже не рассмотрели его лица и припустили оттуда со всех ног! До сих пор не знаю, был это мираж, кто-то рыл новую могилу или раскапывал старую. Но через Кальварию больше никогда не срезали!

В женскую общагу — через козла

Из доступных нам развлечений зимой было катание на коньках, а больше — на лыжах в тогда пригородной Лошице вдоль реки. Летом пробирались там в яблоневый сад (где, в отличие от Оренбурга, обходилось без стрельбы: сторож соглашался на бутылку «чернильца»), купались. Ну а по дороге из расположения оркестра находилось (и сегодня оно там) общежитие камвольного комбината. Тут воспитанов и солдаты содержательно общались с работницами предприятия. Однако одно полупризрачное увольнение в неделю ещё нужно было заработать. Например, прыжком через козла или утренними пробежками на морозе в нижнем белье. (И сегодня вижу это в страшных снах!) Слабый результат? Значит, никаких увольнений: прыгай, тренируйся. А под горячую руку старшины можно было нарваться и на «круговую поруку».

Гиря, койка и ведро

Но даже в казарме не скучали. Например, заключали пари. Запомнил такое: спорили на бутылку водки о том, кто выпьет залпом... бутылку водки и расскажет анекдот. В результате один мой товарищ по службе (это был Гриша Куринец) выполнил условия, за что был торжественно уложен на кровать, а вот его конкурента, свалившегося без памяти и не рассказавшего анекдот, просто бросили на койку.

За послабления от майора Майзлера доставалось одному консерваторскому пареньку-пианисту: то он ноты перепишет для дирижёра, то где-то ему подыграет, а тот его, минчанина, на несколько дней отпустит домой. Коллектив, конечно, решил намекнуть о своём недовольстве. Для этого придумали хитроумный план: пудовую гирию положили (так, чтобы до пола доставала) на панцирную сетку кровати, сверху эту «композицию» прикрыли постелью. Конечно, спали вполглаза. Одно из негласных правил казармы: не буди спящих, иначе об этом напомним сапог. А грохот от гири ожидался ещё тот! Всё вышло, как и задумали. Объект прикола под утро прокрался в казарму на втором этаже над санчастью и сразу в кровать... Это была самая громкая попытка лечь спать, которую я слышал! Разозлившись, он, типичный консерваторский паренёк (худощавый, долговязый и далеко не физкультурник), дотянул ненавистную гирию до открытого окна и, размахнувшись, как мог, выбросил её. Спустя несколько минут дневальный (он наблюдал за спектаклем из-за приоткрытой двери и знал свою роль заранее) вбегает с перекошенным лицом и кричит: «Кто гирию сбросил из нашего окна?» Все сделали вид, как будто только проснулись и никто ничего не знает. Тогда дневальный добивает: «Там из санчасти паренёк вышел воздухом подышать, так его эта гирия — насмерть!..» В общем, долго мы потом откачивали побелевшего от ужаса сослуживца. Была и ещё одна вариация такой хохмы. Благодаря ей мы выяснили, что в презерватив можно набрать ведро воды: не сразу, по кружечке, и не держа «резинное изделие № 2» на весу. А суть её состояла в том, что «приговорённый» опускался на кровать — и его окатывало ледяным душем.

Синячище и еврейские песни

И всё-таки именно увольнения — неисчерпаемый источник хохм! После одного из них я пришёл на построение с синячищем на полфизиономии. Старшине сказал, что упал, и мне вроде бы поверили. На самом деле фингал поставил приятель Фима Шехтман. Возле минского цирка (мы оба навеселе) он предложил показать свежий приёмчик. Вот я и отлетел на пару метров. Не удивительно: Фимка — здоровяк, кандидат в мастера спорта по борьбе. (Он и в Чикаго по скайпу до сих пор извиняется: не рассчитал, старик...) В двадцать лет при типичной еврейской, а ещё и бандитской внешности ему давали сорок. Увидев его на прослушивании, старшина Карпунин сразу отрезал: «Сверхсрочники не нужны!» «Я не свегхсгочник, я воспитанником пгищёл», — не выговаривая «р», жалобно протянул Фимка старшине. Кстати, ещё одна способность моего приятеля — плакать в любой момент. Однажды старшина Уличкин отчитывал Фиму за то, что тот не выбрит: мол, у тебя, Шехтман, всё не как

у людей. «Так у меня бгитвы нет, — отвечает Фима (бомбина с лицом сорокалетнего) и со слезами и картавым “р” добавляет: — И денежек на бгитву». Действительно, если доход семьи был ниже определённого уровня, воспитаннику выдавалась бритва. И Фиме при- слали справку из Бобруйска, по которой уже старшина Иванов как хозяйственник и бухгалтер по вопросам всяческой «бытовухи» был вынужден раз в неделю покупать Шехтману бритву. После таких по- купок мой приятель с особой издёвкой говорил старшине спасибо... А как-то Фима вытянул меня и Володю Кутузова в магазин грам- пластинок за минским ГУМом: «Чуваки, там пгодаются пластинки с евгейскими песнями. Пойдёмте послушаем». Мисевич и Кутузов, которые слушают еврейские песни вместе с Шехтманом? И всё-та- ки он нас сманил. В магазине Фима подходит к продавцу: «Девуш- ка, а у вас есть евгейские песни? Можно послушать?» Мы с Володей спрятались за колонну. И не зря. За неё пришлось держаться, чтобы живот не порвать от хохота: Фима «даванул» слезу и с ней прослу- шал весь диск от начала до конца. Потом сказал продавцу спасибо и ушёл. А нас отчитал: «Куда же вы исчезли? Гасплакаться постесня- лись?» Да, дело в том, что сам он мог «включить» слёзы на раз-два — я видел, как Фимка рыдал перед девушкой в музыкальном училище, когда того потребовала ситуация. Артист, одним словом! Кстати, пе- ресказал что-то из этих историй не так давно самому Фиме, и как же он был удивлён, что я это всё помню!

ЦЫГАНСКАЯ СВАДЬБА ЮРИЯ АНТОНОВА

Была у меня знакомая Света Гомонова, её отец — цыганский ба- рон, а родственники играли в театре «Ромэн». (Фима однажды при- знавался ей в любви со своей знаменитой слезой.) Под конец моего воспитонства она попросила собрать ансамбль на её завтрашнюю свадьбу. Я к Серёже Буланову, который потихоньку подучивал меня игре на саксофоне. По его наводке в частный сектор на минской улице Соломенной прибыло трио: контрабас, тромбон и аккорде- он. На последнем играл, да ещё и был вокалистом, Юрий Антонов, о котором уже тогда в Минске говорили как об отличном музыкан- те. Ну а я за столом в числе приглашённых: контролирую процесс, так сказать. И всё было хорошо, пока Юра не попросил прикрыть его: спешил на получасовую «халтуру». Чуваки испугались, объявили перерыв. Но к его концу Юра так и не появился. Оставшийся дуэт и меня с ними как организатора выступления окружили возмущён- ные гости. Дело пахло разборками с неясным исходом. Но, к сча- стью, до начала рукоприкладства вернулся Юра, музыка зазвучала, и никто не пострадал.